



# Пролог

**С**тоя на четвереньках, она рассматривает россыпь темных капель, разъедающих снег между ее расставленными ладонями. В сумерках кровь выглядит черной. Не оборачивайся, говорит она себе. Не спеши. Не поднимайся. Еще рано. Верхняя губа онемела, во рту горячо и солоно. Она не чувствует боли, она еще не испугана, просто сосредоточенна. Ей нужна пауза, чтобы собраться с мыслями. В ударе, сбившем ее с ног, нет ничего непоправимого — это всего лишь точка, момент выбора. Развилка. Ничего из того, что случится после, нигде не записано и не предопределено, а значит, на это еще можно повлиять, думает она, и склоняет гудящую голову, и аккуратно сплевывает кровь, и даже немного отодвигает левую руку, чтобы не запачкать.

Там, у нее за спиной, — тихо, и это означает, она не единственная, кому нужно время, чтобы принять решение. Хорошо, думает она, это хорошо. Значит, мы успеем поговорить. Главное — привести в порядок лицо. Четыре с лишним дюжины послушных, выдрессированных лицевых мышц приходят

в движение, расслабляются, разглаживают лоб, на-прягаются, смягчают линию рта; плохо, что верх-няя губа не повинуется, это очень важно — рот. Важ-нее глаз, важнее бровей, одним ртом можно выдать такую беззащитность, такую детскую хрупкость, и никто уже не тронет тебя, только не с таким ртом. Но губа вышла из строя, черт, как не вовремя. Лад-но, думает она. Ладно. На крайний случай всегда остаются глаза; правда, даже за время, пока она сто-ит на коленях, сумерки сделались вдвое гуще — в этих горах вечно темнеет одним махом, как будто кто-то задернул шторы. От глаз в темноте никакого толка. Придется забыть об оттенках и полутонах и сделать грубо. Заплакать легче всего. В конце кон-цов, она — музей плача. Эрмитаж плача. Лувр. Ми-нус — неслышимый одиночный всхлип. Нейтраль — беззвучный укоризненный ливень из слез, который удается лучше всего, если не морщиться и не мор-гать. Плюс — рыдания, невыносимые судорожные гримасы, некрасивые пузыри. Ей известны два де-сятка видов плача, три десятка. Легко покачиваясь на локтях, поджимая стынущие пальцы, осязая хо-лод лицом и затылком, она молча перебирает их и отмечает один за другим.

Чертовы сумерки. Похоже, ей понадобится всё сразу: и лицо, и голос. Снег в трех шагах от ее безза-щитно подставленного затылка скрипит неожидан-но, резко, и она слышит это и все равно запрещает себе подняться на ноги. Вот сейчас пора оборачи-ваться. Ее лицо уже готово. Да, губы разбиты, а во рту кровь, но лицо готово, в нем нет уже ни гнева, ни обиды — только боль и отпущение греха; ей про-сто нужно успеть показать это лицо до следующего удара. Одним только лицом она может многое оста-новить. Почти всё. По крайней мере, за десять по-

следних лет не было ни единого случая, когда лицо и голос подвели бы ее.

Сейчас она поднимет голову и заговорит. Конечно, хорошо бы догадаться, в чем дело. Что именно случилось в этот раз. Единственное, чего ей всегда не хватало, — понимания. Эмпатии. Чужие химические реакции, странные формулы, повинуюсь которым другие плачут, смеются, корчатся, дерутся и кричат. Неожиданно становятся опасными. Этого языка она не знает, и потому ей пришлось заучить приемы. Беспроигрышные. Увесистые, как пудовая гиря. Запасть универсальными фразами, понижающими температуру. Ей всего только и нужно сейчас — получить передышку, небольшую фору. Голос зазвучит тепло и мягко, без нажима, без злости. Я понимаю, скажет она сейчас. Ты злишься, я вижу, подожди. Подожди. Главное — не пережать. Повторение простых слов и тихий голос. Можно сказать: ну ты что. Больно. И ровно в этот момент стереть кровь с губ. Немного покачаться из стороны в сторону — монотонность успокаивает. Может быть, протянуть руку, хотя нет. Не нужно руки, это лишнее — рука.

Она не успевает сделать ничего. Следующий удар приходится ей под ребра — на вдохе, потому что она ведь собиралась обернуться и заговорить, и арестованный в легких воздух екает, сворачиваясь крошечным внутренним смерчем, не найдя выхода. Она легко валится набок, поджимая колени к животу, загораживая локтями лицо, и думает при этом: опоздала. Надо же, опоздала. Разговоры закончились. Вместо того чтобы драться, она решает беречь силы и замирает. Это мгновенный, ясный выбор мыши, попавшейся коту: если ты слаб — не кричи. Не дергайся. Береги энергию. Замри и жди момента.

Когда после вялой непродолжительной возни ее опрокидывают лицом в снег, вместе с ее согнутыми коленями и локтями, когда липкая белая масса набивается ей в рот, и она чувствует на себе вес другого тела и чужую руку на своем затылке, и рука эта давит, вжимает ее в плотный безвоздушный сугроб раскрытым ртом, носом, глазами. Когда она крутит головой — изо всех сил, отчаянно, чтобы вдохнуть хотя бы уголком рта, — и слышит вдруг, именно слышит прежде, чем чувствует, как рвется мочка ее правого уха, потому что сережка с прочным английским замком цепляется за что-то, за перчатку безжалостной сторонней руки, а может быть, за воротник ее собственной куртки, ей уже плевать и на ухо, и на сережку. Ей нужно дышать, и она дергает плечами и задирает подбородок, резко, с усилием, и слышит хруст в каких-то пяти сантиметрах от своей яремной вены, и спустя секунду или две очень коротко удивляется тому, насколько эта боль выносима, потому что именно тогда, именно в этот момент понимает отчетливо и ясно: все это затеяно не ради того, чтобы просто отлупить ее. Ее в самом деле сейчас убьют.

И даже здесь она не поддается панике. Она просто принимает новые правила. Переворачивается на спину, оставляя позади, в сугробе, свои заблуждения. Три десятка капель крови, ненужную сережку и вырванный кусок мочки. Уже можно драться в полную силу. Уже все равно. Она напрягает мышцы живота и выгибает спину. Упирается пятками в снег. Вытягивает вперед руки, растопыривает пальцы. Главная задача сейчас — оттолкнуть, освободиться от чужого веса. Вывернуться и убежать. Правило выживания: если тебе не победить, беги. Как можешь быстро. Пальцы ее скользят по глупо гладкому нейлону, не оставляя на нем ни следов,

ни царапин, но ноги у нее сильные; у женщин, годами бессмысленно мучающих свои коленные суставы двенадцатисантиметровыми каблуками, и правда сильные ноги, очень сильные. Она задерживает дыхание, зажмуривается, раздувает ноздри и напрягает колени, и толкает от себя и вперед, и через мгновение ее уже ничего не держит.

Понятно, что распорядиться этой временной свободой она может по-разному. Теперь, когда она снова может дышать, все эти варианты с ревом возвращаются к ней. Просить пощады. Звать на помощь. Бежать. Она хрипит. Выкашливает снежный комок, набившийся в рот. Рывком переворачивается животом к земле и ныряет лицом вниз, в собственный рукав, стирая одновременно кровь, лед и воду. Не тратя времени на то, чтобы пытаться встать, отталкивается локтями и мысками ботинок и ползет — назад, в сторону дома. До дома недалеко, двести с небольшим метров. Она ползет. В сторону освещенных окон, спасительного дверного проема, теплой латунной ручки. Не заботясь о сохранности локтей и коленей. Она бежала бы, но знает точно, что не успеет подняться на ноги. Зачерпывая снег голыми, без перчаток, леденеющими руками, она ползет — быстро, неловко, жадно, раскачиваясь из стороны в сторону, как годовалый ребенок, который не умеет ходить, или даже как тюлень, спешащий к океану, и за спиной у нее — холод и мрак, а впереди — восемь электрических желтых прямоугольников, и за ними — люди, которых она двадцать с лишним лет зовет своими друзьями, готовятся ко сну, курят, наливают себе последние пятьдесят граммов виски, чистят зубы, ссорятся, сплетничают, не подозревая о том, что она сейчас умрет, не слыша ее, не помня о ней.

Последние клочки здравого смысла подсказывают ей, что кричать еще рано. Для того чтобы ее услышали те, кто нежится сейчас за освещенными окнами, нужно подобраться к самому дому. Толстые деревянные стены и двойные зимние стеклопакеты поглотят любые звуки, особенно если она закричит вот так, лицом в землю. Она ползет, задыхаясь, захлебываясь, с железным привкусом на нёбе, с мокрым ледяным затылком, ожидая в любое мгновение прикосновения чужих цепких пальцев на своих щиколотках, и, когда ее в самом деле хватают за ноги — или за ногу, — она рвется вперед всем телом, отчаянно, потому что теперь ей не нужно больше экономить силы, и поднимается, и бежит. Это недлинный бег — полторы сотни метров, но это самый напряженный и яркий бег в ее жизни. Она слышит, как хрустят ее избалованные праздностью колени. Она видит свои вытянутые вперед мокрые руки и растопыренные пальцы, тянущиеся к перилам крыльца.

Вот сейчас самое время закричать. Именно здесь выясняется, что голос изменил ей. Голос, всю жизнь служивший последним аргументом. Безотказный. Послушный. Способный по ее желанию падать и подниматься, слышный из последнего ряда. Почти всемогущий. Она действительно открывает рот и пытается вначале вскрикнуть в полную силу, а потом, когда ничего не выходит, задерживает дыхание, чтобы любой ценой просто протолкнуть. Мало-мальский. Жалкий. Какой угодно звук сквозь сжатое горло. Руки и ноги еще служат ей, но голоса нет, никакого. Черт, выходит, она все-таки паникует. Как не вовремя.

Она влетает в груды составленных возле крыльца лыж с разбегу, как испуганная курица. Курортные

лыжи — широкие, пластмассовые, ничьи, не успевшие еще распределиться по временным хозяевам, рассыпаются под ее ногами, раскатываются по заснеженной освещенной площадке; пытаюсь преодолеть секунду назад еще не одушевленный, а теперь внезапно оживший стог полимерных материалов, она чувствует себя неловким медведем, пытающимся поймать скользкого лосося в реке, по которой сплавляются бревна. Спотыкаясь, оскальзываясь, она падает прямо в груды рассыпавшихся лыж, оцетинившихся универсальными креплениями. Сдирает кожу с рук. С треском рвется нейлон ее зимнего комбинезона. От входной двери ее отделяет пять каменных ступенек. Пять дурацких ступенек, которые она не может преодолеть, потому что не способна встать и не способна ползти. Она барахтается в проклятых лыжах, пытаюсь поймать момент, когда ее горло все-таки разожмет и у нее снова появится шанс; ненавижу лыжи, со школы ненавижу лыжи, чертовы лыжи, думает она исступленно. Нужно просто дотянуться до перил, всего лишь дотянуться до перил.

В затылок ей светит киловаттный светильник, подвешенный над входной дверью. Ничего плохого не может случиться с человеком, который оставил тьму позади. Обогнал ее. Вырвался. Все хтоническое древнее зло, над которым легко смеяться, как только в руках у нас появляется слабый детский светодиодный фонарик, обязано отступить. Испугаться света. Нормальности. Чик-трак. Я в домике, думает она глупо и чувствует грандиозное облегчение. Облегчение на миллион долларов. Окна первого этажа освещены; там, за ними, и расположены все эти горнолыжно-пансионные банальности. Прихожая, гардеробная. Скучные, идиотские, неудобные



помещения. Ненавистные любому бывалому туристу. Унифицированные. Общая гостиная, которая будет обставлена одинаково везде, будь то швейцарские Альпы или маленькая восточноевропейская страна. Камин с закопченной стеклянной топкой. Полированный журнальный стол и два заляпанных свечным воском кресла. Ей даже кажется, что в глубине гостиной она видит темную коротко стриженную голову, узкие плечи; ну да, он еще не спит, этот хмурый местный заморыш, как его, Оскар. Обернись, Оскар. Посмотри в окно.

Она уже в круге света. Ей видно Оскаров силуэт через оконное стекло, и, хотя подняться на ноги она еще не успела, она все равно испытывает торжество. Все еще лежа посреди разбросанных лыж, присматриваясь к высоко расположенной входной ручке, она прикидывает покойно, уже без острого страха, как поднимется по ступенькам и постучит, и что выкрикнет. Именно в этот момент лыжная палка — толстая, четырехгранная, острая, как гигантская швейная игла, — взмывает над ее головой и вспарывает, последовательно: влагонепроницаемую ткань у нее на спине; ультратонкий гибридный материал; мембрану со встроенным климат-контролем; слой неведомого жаркого гагачьего пуха. И в самом конце протыкает ей левое легкое.

Удар не смертелен. Она все еще жива, просто теперь наверняка уже не сможет кричать и тем более стоять на четвереньках. Пока она лежит, сосредоточившись вокруг жгучей боли под лопаткой, и пытается придумать следующий ход, ее берут за ноги и поспешно, неловко волокут по снегу назад, к деревьям и камням, подальше от дома и света. В темноту. Она запрокидывает голову и видит удаляющиеся мирные прямоугольники окон и (по крайней

мере, ей так кажется) темный силуэт человека в одном из них. У нее нет сил, чтобы позвать на помощь, она не уверена даже, что там действительно кто-то стоит; осознавая глупость собственного жеста, она закидывает за голову руку и машет неизвестному, стоящему возле окна. Избитая, мокрая, умирающая, она понимает, что человек ее не видит, конечно, не видит, иначе не стоял бы так спокойно.

Как только дом скрывается из виду, она получает еще один удар лыжной палкой, на этот раз в живот. Теперь у нее существенно меньше причин для того, чтобы не умирать, но она как будто подписала какой-то страшный документ, обязывающий ее оставаться в сознании несмотря ни на что, и она остается и чувствует полтора десятка раскаленных струек крови, вытекающих из дырки в ее животе, и примерно столько же — с противоположной стороны, из-под лопатки. Кроме того, она, кажется, обмочилась. Удивительным образом женщине, которую дважды проткнули лыжной палкой, оказывается совершенно безразлично поведение ее мочевого пузыря.

Лежа на спине, она рассматривает гнутые, черные, равнодушные еловые головы. Что бы с ней теперь ни делали, она проживет еще сорок три минуты, не больше. Вероятно, этот срок еще можно сократить, но продлить уже точно нельзя. Елки-елки, думает она безразлично. Елки.

Когда ее перекидывают через парапет (железные трубы, сваренные буквой «П» невысоко, на уровне пояса), она ловит себя на том, что готова даже напрячься и помочь, оттолкнуться пришедшейся по эту сторону парапета ногой. Сложно сказать почему. Возможно, затем, чтобы все это быстрее закончилось. За парапетом — черные, обма-

занные жирным белесым льдом камни, резко ухающие вниз, но лететь ей все равно недалеко — метров десять-двенадцать. При падении что-то еще ломается, колено или щиколотка, она слышит хруст, но, к счастью, уже не чувствует боли и оставшиеся ей минуты просто медленно дышит, запрокинув к небу подбородок, уже без злости и без обиды, и наверняка была бы даже рада приветствовать полторасантиметровый милосердный слой снега, которым небо, устыдившись, поспешно покрывает ее разбитое лицо и заполняет пространство между ее верхними и нижними веками. Если бы, конечно, к этому моменту не умерла.

# Глава первая

**О**скар совершенно им не понравился. Нет, он не опоздал и ничего не испортил, он вообще не нарушил ни единого условия из дюжины сотен тех, что были оговорены заранее в бесчисленных мейлах и факсах, летавших туда-сюда в течение долгих месяцев, до того еще, как они узнали, что им всем придется ехать. Его несколько не смутила даже авантюрная Ванина идея, родившаяся в последний момент: прибыть на неделю раньше маленькой компанией. Только свои. Бросить внизу, у подножия горы, нервного и несчастного второго режиссера с парой подручных менеджеров и тремя технарями разворачивать лагерь и организовывать площадку, а самим рвануть выше, к заросшей столетними соснами верхушке, и провести там семь спокойных дней, прежде чем нагрянут все остальные и начнется обычный съемочный кошмар. Там есть такой парень — Оскар, сказал Ваня. Очень толковый. Он нам все организует, я договорился. Альпийский шик в самом сердце Восточной Европы. Горный воздух, сливовица, тишина. Я пришлю к вам человека за паспортами, вылет — двадцатого. От-